

Накануне отпуска происходит такой разговор.

— Может, конечно, это просто оттого, что я устала за год, — говорит жена, — но знаешь, мне так надоели эти бесцветные занавески, эти наши серые дурацкие обои. Так это всё угнетает. Хочется вырваться из этого, хоть на неделю. Я очень устала.

Меня раздражает её жалоба. Как будто ищет она моего сочувствия, а на самом деле жалуется мне на меня же самого.

И я вкратце напоминаю ей, как однажды, когда в квартире были ещё голые стены, она несколько дней подряд говорила о таких прекрасных “попугаистых” занавесках. Говорила о них, как о каком-то спасении, и я разорился и купил их на последние деньги.

Что осталось после покупки занавесок, я пропил. Я посчитал, что с занавесками я имею на это если не полное право, то хоть какую-то часть права. Я пришёл домой, и пока её внимание не сосредоточилось на том, что я пьян, молча принялся вешать гардины. Никакой радости жена не показала, словно это не она так мечтала об этих тряпках. Моя работа проходила в гнетущей тишине. А крючки всё время вылетали из рук и сыпались на пол, я матюгался себе под нос, ребёнок ползал по полу, собирал крючки и совал

себе в рот, а я прикрикивал на него, потому что и так ничего не получалось, да ещё и добавлялось беспокойство, что Миша подавится крючком. Когда первая занавеска была почти на весу, жена сказала:

— Ну, а на что мы теперь, интересно, будем жить?

Имелись в виду, конечно, не те деньги, что я потратил на занавески, а те пятьсот рублей, что я пропил. И всё-таки я показываю на занавески:

— Ты же хотела такие?

Моей жене недолго вспылить:

— Да нужны мне эти занавески, и вообще вся эта красота в доме, если отец моего ребёнка пьёт!

Она вспоминает, что я пил вчера, пил позавчера и четыре дня назад тоже пил. И неделю назад, и девять дней назад, и тогда, и с тем, и с другим. И действительно, выходит, что я сильно выпиваю. Она права. Но я уже зол. Если считать по деньгам, то я положил десять дней своего постылого труда на эти висячие тряпки. В коротком приступе бешенства я хладнокровно сдираю только что повешенную занавеску, а потом беру и остальные, ещё не распакованные пачки и иду с ними на помойку. Прихожу я оттуда домой с радостной победой зла в своём сердце и мгновенно засыпаю. Утром, проходя мимо помойки, я уже не вижу “попутайстых” занавесок, а ведь я не побрезговал бы достать их из мусора, если б увидел. Ничего, я усмехаюсь и смачно плюю в сторону ржавых урн.

Через три дня мы миримся, деваться некуда. А получив жалкий аванс, я сразу иду в занавесочный магазин. Гляжу на товар. Опять тратить кучу денег на те же самые занавески? Нет, решаю я. Надо создавать что-то новое и двигаться вперёд, а не растрачиваться на исправление старых ошибок. Не пошли первые занавески — так тому и быть. И я воображаю, как станция под названием “хорошие занавески” пронеслась мимо нашего семейного поезда навсегда. Я беру какую-то бесцветную кружевную дешёвку, из тех, что бывают в домах у стариков, и в тот же вечер легко обвешиваю все окна квартиры, потому что я трезвый. Мы с женой не в ссоре, и благодаря этому даже хвалим занавески. Но глядеть на них каждый раз обидно, даже больно.

То же и с обоями, дорогими, сделанными под холстину с элементами бамбука. Я прихожу с работы и начинаю их клеить. Я от природы ленивый, да ещё и устал, да ещё и на работе научился у мужиков ругаться матом. Поэтому я то и дело матерюсь. Я быю кулаком по пузырям воздуха, которые скопились под обоями в верхнем углу комнаты, и с каждым ударом повторяю слово на букву “б”, всё громче от боли. Через час такой моей работы жена не выдерживает и кричит с кухни:

— Да может, хватит уже материться?! Тебя в последнее время не узнавать! Как ээк какой-то! Ты посмотри: рядом с тобой ребёнок ходит! Что он от тебя слышит?!

Я вижу, что Миша и впрямь смотрит на меня. Но правота жены злит меня ещё больше, я ведь ещё и немного пьян. Я иду на кухню, говорю: “А знаешь, что?” — и посылаю её матом, и ещё добавляю: “Сейчас сама всё пойдёшь клеить”.

В конце концов, я этих слов нахватался на работе, на которую хожу, чтобы прокормить её и ребёнка, и которую ненавижу. Клеить обои я тоже ненавижу, но как могу, так и клею. Больно мне самому нравится такая жизнь. Могла бы и промолчать.

Она даёт мне пощёчину, идёт в комнату и торжественно сдирает все куски, что я успел наклеить, а потом ложится на пол и бьётся в истерике. “Ненавижу тебя! Ненавижу! Не нужны мне твои обои! И ты мне не нужен!”

Я, в свою очередь, собираю все оставшиеся рулоны, молча отношу их на помойку, возвращаюсь домой и спокойно засыпаю. Дня через три к стене кое-как прилипают новые обои, серенькие, дешёвые, которые в условиях мира кажутся не такими уж плохими.

— Ну, и зачем ты мне обо всём этом напоминаешь? — спрашивает теперь жена.

На самом деле, я понимаю зачем. Я давно хочу сказать ей, что мы вот уже пять лет подряд сами выбрасываем всё хорошее, что напрашивается в

нашу жизнь, и оставшиеся пустоты тут же заполняются чем-то второсортным, серым, что уже невозможно выгнать из жизни. Потому-то нам и плохо вдвоём. Мы ведь хотели счастья.

Но я этого не говорю. Страшно это вот так сказать.

Тем не менее, ссора происходит, и довольно крупная. Я всё делаю не так, она всё делает не так.

Я вдруг понимаю, что мне, — может быть, впервые, — не важно, кто прав, кто виноват. Я просто устал от всего этого, и я говорю жене, что поеду отдыхать один, потому что вдвоём у нас ничего не выходит.

— Ну, и езжай, куда хочешь. Так и знала, что опять никуда не поедем, — говорит жена и тихо плачет.

Действительно, за эти пять лет мы никуда не ездили. Каждый год собирались, строили планы, даже составляли список, что с собой брать: консервы, спальные, удочки; смеялись, придумывая, чем будем заниматься, и ни разу никуда не выехали. В самый последний момент все надежды почему-то улетали в помойку. В результате пару раз за лето ходили в наш пыльный лес за сыроежками да купались на искусственном городском водоёме, который в народе носит презрительное название “прудка”. Серенькие обои вместо прекрасной холстины с бамбуком. Мы не жалуемся. Когда мы не в ссоре, мы довольны и этим.

Короче, я оставляю ей денег и еду на вокзал, чтобы отправиться куда-нибудь на море. Из всех южных билетов, свободных на сегодняшний вечер, удаётся достать только на Таганрог, я машу на всё рукой и еду в Таганрог, на мелкое Азовское море.

2

Я сажусь на своё место в поезде и думаю о жене. Мне жалко жену. Мне жалко себя. Ничего не склеивается. И вот я впервые еду получать собственное удовольствие в стороне от семьи.

Поезд трогается. Ещё не пуская в ход свои механизмы, он пошевеливается тяжёлым телом и молча проходит с десяток метров. Люди словно просыпаются, они перестают чего-то бояться и уже чувствуют себя уютней, задумчиво смотрят, как Москва начинает уплывать от них. Вообще, это всё очень приятно, я люблю поезда, но сейчас я не получаю радости, потому что думаю о семье. Я отправляюсь в грешное путешествие, я предал семью. Впрочем, я очень устал. Это даёт мне хоть какую-то часть права.

Мне досталась нижняя полка в плацкарте. Но верхняя досталась какой-то старой женщине, и, чтобы ей не страдать, я предлагаю поменяться местами. “Ой, ну вот и хорошо, спасибо”, — вздыхает она так, как будто путь уже закончен. А он только начинается, и мы с ней сидим вдвоём на нижней полке, упершись руками в бордовый дерматин. Я у окна, а она рядышком, седая, интеллигентная женщина с правильной русской речью. У неё две огромных клетчатых сумки, набитых чем-то. Чем? Что такое она может везти в Таганрог или в его сторону? Мне неохота об этом спрашивать. Зачем? Я просто забросил эти сумки в багажное отделение.

Я оглядываю других соседей. Это мальчик лет четырнадцати в дешёвой майке и спортивных штанах, который с самого начала лёг на свою верхнюю полку и всё жмёт на кнопки мобильного телефона. Кажется, это от него исходит такой запах, молодёжный. Не мудрено: в вагоне духота. И ещё замкнутый дедушка (может, замкнутый до поры до времени). Я видел, как его провожала дочь. Дедушка едет грустно. Почему грустно? Может, он давно не был в тех краях, куда едет, и теперь тревога ожидания растянется для него на весь путь. А может, он не слишком хочет туда ехать, а просто молодёжь отсылает его подальше от себя, чтоб не мешал их жизни. Наверное, рано или поздно он не выдержит и сам расскажет о себе. А укомплектован дедушка очень качественно: самый дорогой сок (в стеклянной бутылке, сто-процентный), богатейший запас душистой еды в прекрасных пластиковых контейнерах (уверен, специально купленных дочерью в дорогу), новенькая

спортивная сумка. Что это? Искренняя забота дочери? Или её последний долг, последнее благодеяние перед тем, как навсегда отделаться от старика?

Я понимаю, что каждый плакатр в этом поезде просто нашпигован такими загадками. Пытаться их разгадать — всё равно что пытаться побывать во всех уголках земли. Или ещё что-то в этом духе. Поэтому я не волнуюсь. Не гонюсь за невозможным. Не хватает мне, что ли, собственной жизни? Я просто еду в Таганрог.

Может быть, женщина хотела бы лечь, поэтому я отправляюсь на свою верхнюю полку. Действительно, она вскоре ложится.

Я сразу отказываюсь наблюдать за дорогой, я лежу и какое-то время просто отщёлкиваю и прищёлкиваю к стенке сетку для полотенца. На одной высоте со мной лежит этот мальчик с мобильным телефоном. Мне почему-то кажется (может, потому, что от него такой запах), что он переписывается с какой-то взрослой женщиной, с которой у него что-то было в Москве. Впрочем, иногда он включает незамысловатую музыку на своём телефоне и слушает её, уставившись в экран. Видимо, ему просто неинтересен путь, и телефон помогает скоротать время.

Если б сейчас со мной были жена и Миша, я бы, скорее всего, не думал обо всём этом. Я всё же себя по-другому. Не знаю, как именно, мы ведь никуда не ездим вместе. Но мне чем-то нравится, что их со мной нет, что я один, хоть мне и не очень хорошо. И я не знаю, что было бы лучше: с ними или без.

На душе всё-таки тяжело. Мне лень думать о чём-либо. Но и заснуть так сразу я не могу. Что же мне остаётся делать? Никакого третьего варианта я не вижу. На секунду мне становится тошно от себя самого, будто я в клетке. Не могу спать, не могу думать. А что же тогда делать? Взорваться?

Рассати о клетках. У нас дома живёт канарейка. Я не особенно сентиментален, но эта птичка трогает меня — своим голоском, своей хрупкостью. Я назвал её Чивиком. Сначала мы держали Чивика в клетке, но потом прочитали в книжке, что этих птиц иногда выпускать для полёта по квартире, не то они заплывут жиром, и жир помешает им петь. Мы обрадовались и стали выпускать Чивика из клетки, хотя что нам, казалось бы, мешало делать это и без книжки, из простой жалости к убогому существованию птички? Чивик повёл себя, на первый взгляд, странно. Конечно, он пользуется свободой, но очень скромно. Я бы сказал, не творчески. Он выпархивает из клетки, описывает в воздухе ничтожный кружок и снова возвращается в свой домик. Видимо, то, что сначала было для него тюрьмой, теперь стало казаться надёжным убежищем, местом безопасности. Мне жалко нашу птичку, хоть она и не страдает. Собственно, поэтому и жалко. Я ведь мог бы, да и готов, сделать всё для того, чтобы Чивик стал настоящей вольной птицей. Но сам он уже на это не способен.

Пронесят пиво, я прыгиваю со своей полки и иду за человеком.

— А покрепче что-нибудь есть?

— Вагон-ресторан только.

Хорошо, схожу в ресторан. Туда идти с десятков вагонов. Чем-нибудь за полною время, как мальчик своим телефоном.

Поезд начинает уже ритмично качаться боками, это приятно. Между вагонов пахнет какой-то нечистой свежестью. Как будто всю жизнь любил этот запах. Кто-то широкоплечий в тельняшке медленно спускается на сильных руках с боковой верхней полки. Кто-то на украинском ругает плачущего ребёнка. Все едут в сторону Таганрога.

Вагон-ресторан. Я заказываю 200 г коньяка и яичницу с колбасой. Я сижу за столиком один. У противоположного окна сидит девушка, перед ней бутылка мартини, вышитая на трель. У неё волосы цвета льна, хоть я и не представляю, как выглядит лён, нахватался где-то таких выражений. Я думаю, лён — это что-то очень светлое, белёсое, созданное для того, чтобы его ласкало солнце. И вечернее солнце, действительно, украшает голову этой девушки. Дорожный ветерок из приоткрытого окна развеивает отдельные волосы, и они у неё прямо светятся, как маленький золотой нимб. Я отворачиваюсь к своему окну, потому что снова начинаю гадать: а что у этой девушки на

душе? А почему это она пьёт в одиночестве? Мне ведь совсем не нужно это знать.

Тут мне как раз подносят коньяк в каплевидной колбочке, ячница будет чуть позже. К коньяку дают рюмку, но она мне кажется больно маленькой, и я отхлёбываю грамм семьдесят сразу из колбочки. Вижу, что девушка этому улыбается. Впрочем, сразу прячет улыбку, и мне это нравится в ней. И вот выходит, что нас уже что-то объединяет. И коньяк окутал мой живот своим теплом. Я опять отворачиваюсь к окну, а потом резко встаю и ухожу. Слишком я задумался об этой девушке. Это не годится. В тамбуре вспоминаю, что забыл распахнуться. Возвращаюсь, но тогда уже снова сажусь на место. Наверное, девушка как-то по-своему это поняла. Я не хочу на неё смотреть, но я уже от неё завишу и живу перед её глазами. И даже если пообещаю себе, что ни разу не взгляну на неё, всё равно буду думать о ней. Я снова не знаю, что мне делать. Не хочу на неё глядеть, но не могу не думать. Должен быть какой-то третий вариант, но я не вижу его. Тогда я забираю свою колбочку, иду к её столику и сажусь напротив девушки. Ничего ей не говорю. Хотелось бы что-то сказать, но я не знаю, какие слова были бы правильными. По крайней мере, она не ушла и не попросила меня уйти.

Мне принесли ячницу. Я смотрю на девушку, но не в упор, чтобы не смущать её. Грудь у неё не упругая и твёрдая, а мягкая, немного вздрагивающая от движений поезда. Широкие тёмные брови. Вот-вот она может допить очередной стакан и уйти. Но она отвечает мне взглядом и говорит такую бессмысленную фразу:

— Москва—Таганрог...

Я улыбаюсь, как дурак, и смотрю в потолок, как будто она украла у меня единственное, что можно было сказать. Теперь я должен что-то ответить, но каждое моё слово будет ложью... Но я должен что-то ответить! И я говорю:

— Волосы красивые. Цвета льна.

— Да, — она улыбается и понимающе качает головой. Я тоже сказал единственное, что можно было сказать.

Я понимаю, что именно это и называют “влюбился с первого взгляда”. И не потому, что передо мной какая-то уникальная девушка, девушка, предначертанная судьбой. Нет никакой судьбы. Тысячи таких девушек, тысячи таких, как я. Тысячи поездов. Но я уже держу её руку в своей и вижу воротник её белой рубашки, под которой вздрагивает её мягкая грудь. В этот момент я понимаю: теперь надо забыть о семье. Словно кто-то меня этому учил, или сам я втайне от себя к этому готовился. Я замечаю своё кольцо и вспоминаю о нём; девушка, конечно, тоже его давно заметила. Я прикладываю её руку к своему лбу, к щеке, к губам, к другой щеке. Это другая рука, не та, что у моей жены, и я с этим свыкаюсь, приноравливаюсь к новой руке. Пальцы, ногти, тоненькое запястье — я гляжу на них, целую, и в глазах моих появляются слёзы. Может, это коньяк. Меня сейчас разорвёт. Может быть, вырвет. В общем, что-то должно случиться.

Я беру её мартини, доверху наполняю им свою колбу с остатками коньяка и присасываюсь к колбе. Выпиваю почти половину и вдыхаю носом. В вагоне можно курить, я закуриваю. Мне вдруг кажется, что мы ещё не сказали друг другу ни единого слова, но я вспоминаю, что уже влюбился в эту девушку. И внутри у меня вырастает какое-то подобие верности. Я быстро пьянею и хочу, чтобы она тоже напилась. Она берёт мою колбу, выпивает, сколько может, поневоле морщится. Тогда мы целуемся в губы, и я вижу боковым зрением, что какой-то мужик, забыв о своём эскалопе, смотрит на нас. Наверняка он злится. Завидует, и поэтому злится. Ну, и ладно. Полезет драться — подерусь я с этим мужиком. Главное, что я уже купаюсь в её губах, и мужик понял, что я готов постоять за свой поцелуй. И я ни о чём больше не думаю. Разве что о муках ада. О них я не могу не думать. У меня был верующий отец, он частенько водил меня в церковь, когда я был маленьким. И сейчас у меня в голове две вещи: этот поцелуй — и муки ада.

Надо напиться. Я снова пью из колбы. Она пьёт из колбы. Берёт у меня из пальцев дотлевающую сигарету и неумело курит. Нет, думаю я, она не грешит против моей жены и против моего ребёнка. Наоборот, это она прощает

мне, что я отец и муж. Пей, пей ещё. И она, смеясь, пьёт, а выпив, улыбается и утирает слёзы. Вокруг головы у неё этот золотой солнечный нимб.

— Я тебя люблю, — говорю я ей, чтобы больше не колебаться ни в чём.

— Я тебя люблю, — говорит она.

Я чувствую неожиданность этих слов и их ужас. До этого мы сидели друг напротив друга, теперь она подсаживается ко мне. Она стройная, в коротких бежевых шортах. Я кладу руку ей на плечо, не как возлюбленной, а как сестре или старой подруге.

Через полчаса мы выходим из ресторана. В вагонах негде обрести себе место, у обоих верхние полки. В тамбурах скучно, негде сесть. Всё же мы около часа стоим в тамбуре и глядим в окно, провожаем солнце. Я совсем её не знаю, и не знаю, что я теперь должен делать. Мы расстаёмся. Наверное, до Таганрога.

— Увидимся, — говорю я.

— Да, — отвечает она преданно.

Откуда только эта преданность?

Я дохожу до своего вагона и залезаю на полку. Мальчик уже спит, держа на груди телефон. Дедушка тоже спит. Я так и не услышал от него никакой истории. Наверное, история досталась интеллигентной женщине. Да и женщина, вероятно, объяснила деду, что у неё в сумках и зачем. Если, конечно, дед позволил ей не только слушать, но и говорить самой.

Я лежу и чувствую, как ко мне подбираются муки ада. Чтобы забыть о них, мне надо прижаться к ней, к той, что несётся в этом поезде в шести вагонах от меня. Я ложусь на живот и гляжу на пролетающие мимо деревни. В домиках горят огни. Там, внутри, живут люди, которых я никогда не узнаю и не увижу. Мысль самая банальная, почти на грани пошлости. Но мне чудится, что в одном из домиков остались моя жена и мой Миша. Я только что пронёсся мимо этого домика и навсегда удаляюсь от него. И стук колёс забивает мою память о них. Я вспоминаю наши убогие обои и занавески, свадьбу, через шесть месяцев после которой родился Миша. Мы улыбались на свадьбе, мы надеялись на хорошее, на лучшее.

Я лежу больше часа, не двигаясь и не понимая, что мне ещё придётся предпринять. Наконец, медленно погружаюсь в сон.

3

Просыпаюсь я светлым утром под стук колёс. Поезд всю ночь трудился, чтоб картина за окном к утру сильно изменилась. И теперь я вижу необычные пирамидальные деревья. Они стоят правильным рядком, почти на одинаковом расстоянии друг от друга, а за ними медленно движется поле. Зелень выбелена солнцем и кажется не очень сочной. Потом проезжаем лес. Чего-то в нём недостаёт. Да, ёлки и сосны совсем исчезли.

Женщина внизу стучит ложкой, размешивая сахар в чае. Мальчик с верхней полки прислоняет свой телефон к окну и, не глядя, несколько раз фотографирует вид. Неужели так и пролежит всю дорогу на полке, неужели ему не хочется хотя бы пройтись вдоль плацкартов?

— Что, небось, размыто получилось? — спрашивает дедушка. — Поезд-то вон как бежит.

— Та разрешенье фиговое, пикселей мало, — быстро говорит мальчик с малороссийским выговором и просматривает сделанную только что фотографию.

— Это я, когда был на Сахалине, — обращается дедушка к женщине, — у нас один коллекционировал фотоаппараты. Каких у него только не было! И эта машина, где под тряпкой нужно прятаться, у него была. Огромная, на треноге. И всё, главное, работало! И он каждый аппарат мог разобрать и снова собрать.

— Да, увлечённый человек — это хорошо, — говорит женщина. — Такому и жить интереснее.

— А ему больше ничего и не надо было. Сидит со своими фотоаппаратами, копается в них. Мы его зовём: Андриш, давай, пойдём с нами на ручей —

выходной, получка, порывачим, посидим. Нет. Он уже отправил письмо на материк, и сму потом оттуда какая-нибудь новая модель приходит. Говорим: давай хоть сфотографируй нас. Столько фотоаппаратов, хоть весь Сахалин общёлкай. А он, — тут дедушка усмехнулся, — глядит на нас, как на дураков. Я, говорит, их не для того собираю. А для чего? Просто, говорит. Нравится мне. Люблю общаться с техникой...

Я теряю нить разговора, который мне не интересен, думаю о вчерашнем. Потом думаю о море. Говорят, что Азовское море не совсем и море. Что глубина там в среднем три с половиной метра или что-то около того. Наверное, публика, которая едет куда-нибудь в Крым или в Сочи, на черноморское побережье, совсем другая. Те люди моложе, веселее, их жесты шире, свободнее. Настолько же свободнее, насколько Чёрное море больше Азовского. Но со мной произошло такое именно в таганрогском поезде.

Я снова думаю о ней. Не связалась ли она уже с другим мужчиной? Вдруг для неё это обычное дело, и преданность в её глазах была дежурным театральным приёмом?

И я иду к ней.

Она стоит спиной к туалету и смотрит в окно, положив локти на оконную перекладину. На ней белая майка с оранжевым узором в виде улиток. Под майкой, вижу, нет лифчика. Солнце создаёт из её волос такой же нимб, как вчера. Я провожу ладонью по её голой руке. Она оборачивается и говорит:

— Я боялась, мы больше не увидимся. Думала, ты не захочешь.

Мы не обнимаемся. Я просто становлюсь рядом, и мы вместе смотрим в окно. Стоим, как порядочная пара, муж и жена. Я глажу её волосы, шею без особенной ласки, скорее из чувства долга, и ухожу к себе.

4

Около девяти вечера я в Таганроге. Интеллигентную женщину встречают сестра и муж сестры, помогают с её клетчатými сумками. Дедушку встречает какой-то молодой человек. Он спрашивает:

— Анатолий Петрович?

— Да, — говорит дедушка, и молодой человек берёт его спортивную сумку. Они идут вместе, видимо, в сторону ожидающей их машины. Я так ничего и не понял. А мальчик идёт в город один.

Я стою у вагона и в пустом коридоре, который образовался между поездом и отчаливающей от него толпой, вижу девушку. Она стоит и смотрит в мою сторону, а рядом на перроне лежит её сумка. Я иду к ней, уже не по вагонам, а по земле. Она скрестила руки на груди и несмело, пытаясь удержать достоинство, смотрит на меня. Видимо, она очень волновалась после нашего последнего свидания: не посчитал ли я её шлюхой? Мне жалко её.

— Сначала к морю? — спрашиваю я.

— Да, — кивает она точно так же, как вчера, когда я говорил про лён, и смотрит на меня с восхищением.

Я беру её сумку, мы покидаем перрон, находим такси и садимся вдвоём на заднее сиденье. Она описывает водителю какую-то лестницу, и он везёт нас к этой лестнице. Всю дорогу я глажу рукой её живот и смотрю на её профиль. Живот приподнимается и опускается, девушка не отстраняет мою руку, она словно не замечает её, а с радостным ожиданием смотрит в лобовое окно, на старенькие уютные улицы, богато украшенные зеленью.

Мы выходим из машины и оказываемся на вершине высокой лестницы. Сквозь листья каштанов видно, как море вдали поднимается вверх и сливается с небом. Я увидел его так просто и неожиданно, что у меня не появляется никаких мыслей по поводу него. Воздух влажный, тёплый, сладко пахнущий. И голоса людей разносятся в нём по-особенному, тихо, отходливо. Я пробую вдохнуть этот воздух и насладиться им, как человек, получивший возможность отвлечься от всех своих проблем. Но получается это наигранно: в душе ничего такого нет.

Она рассказывает мне об этой лестнице. У богатого греческого купца была хромая дочь. Чтобы она могла спускаться к морю, он и велел соорудить

такую лестницу. Я воображаю черноволосую страдающую девочку, которая в роскошном белом платье ковывается по этим ступеням.

Значит, она не впервые здесь, если знает про лестницу. Может, имеют знакомые в городе. Или родственники.

— Я была здесь несколько раз, — говорит она, как будто поняла мои мысли. — Обожаю этот город.

Может, у неё здесь уже была любовь.

— А у меня просто с билетом так получилось, — говорю я. — Мне всё равно было, куда ехать.

Внизу — ряд уличных ресторанов и кафе, пахнет жареным мясом и немного морем, когда подует ветер. До моря ещё, наверное, около сотни шагов. Хочется и мяса, и моря. Мне кажется, Миша бы с удовольствием съел сейчас кусочек мяса. Жена бы вцепилась мне в локоть от счастья, а я шёл бы спокойный и думал о них с Мишей и о том, что вот я стал зарабатывать деньги, которых даже хватает на хороший отдых.

Вот и оно — Азовское море. Кто-то, может, и называет его лужей, а всё-таки оно большое. Берегов, по крайней мере, я не вижу, — чего ещё требовать? Волны не бесятся и не обрушиваются на берег, а мягко шлёпают по песку и камням. Она снимает босоножки, заходит в воду и идёт по краю моря. Я иду позади по линии влажного песка, одна волна наполняет мои глубокие следы водой, а вторая уже слизывает их до конца. Рестораны с их музыкой и посетителями кажутся уже очень далёкими, не имеющими отношения к морю, и на берегу, кроме нас, никого, это не пляжное место. На небе нарисовалось несколько полупрозрачных звёзд, и её белая рубашка, завязанная уголками на животе, едва мерцает на сером полотне моря. Она не побоялась преступить законы, о которых ей твердило моё обручальное кольцо. В то же время она не выглядит опытной циничной разлучницей. Она кажется совершенно наивной. И это придаёт ей первобытности, и на какое-то мгновение она предстаёт в моих глазах чистым ребёнком природы, который идёт себе за неведомым зовом, не размышляя о добре и зле. А море — это её колыбель.

Словно послушная моим мыслям, она слегка подпрыгивает, а потом наклоняется, берёт в ладони воды и подбрасывает в воздух брызги моря. Эта короткая вспышка восторга довольно убога, она не находит во мне ответа. А девушка и не требует его. Она задумчиво идёт дальше.

Я тоже не требую от неё ничего. Да и чего требовать? Ярких воспоминаний? Всё равно их некому будет передать, никому от них не будет ни пользы, ни радости. Это всего лишь моя жизнь, которая пройдёт и канет куда-то. Требовать её тела? Мне не нужна и её душа: нам не быть вместе всю жизнь, не растить детей. Я даже не напишу ей, когда вернусь домой. В общем, я тоже от неё ничего не требую, ничего не хочу получить. Тогда зачем мы вместе?

Может, если б я понял, что буду счастлив с нею всю жизнь, то согласился бы бросить ради неё жену. Но это сказки. Нет женщины, с которой мне через пять лет совместной жизни будет лучше, чем сегодня с женой. Я это знаю точно. И дело не в жене, на её месте могла бы быть и другая. Дело в пяти годах.

Темнеет. Я кладу на песок свой рюкзак и её сумку, снимаю с себя всю одежду и захожу в море. Море, прохладное, встречает меня мягким сопротивлением волн. Девушка тоже раздевается и преданно идёт за мной. Я не оборачиваюсь. Мы отходим далеко от берега, но глубина только по грудь, иногда по шею. Мелкие рыбки тычутся носами в мои ноги. Она догоняет меня, и мы теперь идём рядом. Я обнимаю её, а сам смотрю на бликующую даль моря. Девушка обхватывает меня ногами, чтобы волны не могли нас разъединить. Я не чувствую радости и нежности, но моё тело откликается на прикосновение девушки, и мы соединяемся.

Потом я ложусь на море, раскидываю руки и смотрю вверх, на множество звёзд. Вода задумчиво молчит у меня в ушах, а тело колеблется на волнах. Я бы, наверное, согласился, чтоб ночь продолжалась вечно, а я бы шлёп себе и всегда видел эти звёзды, больше ничего. Но под рукой обязательно

должен быть неисчерпаемый запас какого-нибудь наркотика. Когда я начну скучать, я приму этот наркотик, и однообразная жизнь звёзд снова займёт меня. Мне всегда будет интересно. И через пять лет, и через сто. Я плыл бы и плыл.

Но в мире почему-то такого не бывает. Мне без малого три десятка лет, а я чувствую себя исходившим все земные дороги: будто я исходил их и увидел, что все они одинаковы. Ни одна не удивила меня.

Мы выходим из моря. Я снова иду позади девушки и смотрю на неё, обнажённую. Думаю о том, что эти бёдра, ягодицы, плечи, талия обречены одрябнуть, состариться и умереть. Но вот они бодро вздрагивают, принимая своё короткое счастье. Они надеются, что, отдавшись мне, могут перевернуть мою жизнь, привязать, сделать счастливым, другим. Какое маленькое и убогое богатство. Они ничего не могут. Только утолить на время чью-то жажду.

Она присаживается на корточки и, собирая свою одежду, иногда взглядывает на меня. Когда встречает мой взгляд, стыдливо улыбается и убирает мокрую прядь со лба.

Мы продолжаем идти по берегу. Темно, я уже не вижу её белой рубашки. Наконец, почти все городские огни и звуки остаются вдали, мы обнаруживаем на берегу несколько лодок. Надо переночевать в одной из них, что мы и делаем. Я чувствую большую усталость, поэтому засыпаю быстро, без всяких мыслей. Она лежит рядом, не ложиться же в разные лодки?

5

Нас будит солнце, и мы начинаем новый день.

Найти жильё оказывается нетрудно. Мы теперь временные хозяева небольшого дома на улице, по которой не ездят машины, а ходят одни трамваи. Море в пятнадцати минутах ходьбы. Я сразу расплачиваюсь с хозяином за десять дней вперёд.

Дом двухэтажный, с тенистым садиком из груш и абрикосов. Плоды чуть не каждую минуту падают на тёмную прохладную землю. Между деревьев натянут гамак, по стене дома ползёт виноградная лоза. Она оплетает каркас беседки и даёт тень и прохладу. Всё, кроме помидоров и огурцов на грядке, разрешено есть. В доме имеется телевизор, но я не представляю, как это будет выглядеть, если мы усядемся его смотреть вместе с нею.

Теперь я могу с уверенностью причислить себя к полчищу презираемых мной мужиков, которые заводят романы “на югах”. Конечно, мне кажется, что моя девушка — не какая-нибудь дешёвка, не любовница в гадком смысле слова. Но, может, и все эти мужики так же думали о своих блудницах?..

Вручив мне ключи и уходя, хозяин подмигивает мне и показывает большой палец. Он имеет в виду: “Неплохую ты себе нашёл штучку. Желаю тебе хорошо порезвиться”. Наверняка догадывается, что мы не муж и жена.

Мерзко. Человечество во все времена так жизнерадостно облизывалось перед темой измены, смеялось над рогатыми мужьями, над обманутыми жёнами, да и над муками ада. Рассказы и сказки, анекдоты и тосты — всё говорит о том, что, изменяя, люди не чувствовали себя виноватыми. Они считали, что сам Господь Бог на их стороне, что жизнь, прекрасная и удивительная, продолжается. А те, кто не изменяет, — те тоже, как жалкие карлики, обделённые природой, смеются над этими анекдотами и ехидно краснеют. И, таким образом, вся земля весело крутится во зле. И я, выходит, часть этого зла.

Мы лежим в гамаке, ходим по садiku, пробуем груши и виноград. Груши пресноватые, вязкие, виноград недозревший. Я покупаю на соседней улице семилитровую канистру красного сухого вина и пью его весь день вместо воды, утоляя жажду.

За всё это время мы сказали друг другу очень мало слов. Нас это не расстраивает. Спасибо ей, что не требует от меня постоянно тратить деньги, ехать ещё на какое-нибудь море. Денег мне не жалко. Просто спасибо ей, что она не такая. Уверен, что она согласилась бы жить со мной прямо на улице и каждый день засыпать в лодке, как в первую ночь. Странная девушка. Я спрашиваю её, когда мы спускаемся к морю:

— Чем я тебе так понравился?

— Понравился? Мы вообще-то сказали, что любим друг друга.

Я не спорю. Мы действительно это сказали. Наверное, все женщины придают словам очень большое значение. Я беру её за руку, и она начинает с улыбкой вглядываться в пирамидальные деревья. Кажется, у неё плохое зрение. На ней майка с оранжевым узором в виде улиток.

Я почти не хочу на море. Кажется, вчерашнего купания мне уже хватило. Но когда вижу море, уже не прочь искупаться.

— Покатай меня, как дельфин, — просит она во время купания, и я катаю. Волны затрудняют моё дыхание, то и дело ударяя в лицо, да ещё и она лежит сверху, и я фыркаю, а её это смешит.

Я понимаю, что так и пройдут эти дни. Вино, занятия любовью, купание, занятия любовью, вино, купание. Что нам ещё может предложить это место, да и любое другое; что могут предложить наши руки, ноги, наши головы? Ничего, только это. Ради неё я хотел бы сделать эти дни интереснее. Но мне не хватает фантазии. Да и желания не хватает: что я сам получу от этого? И поэтому я остаюсь самим собой.

Мы выходим из моря, ложимся животами на песок и смотрим друг на друга. Она закрывает и открывает глаза.

Мимо нас проходят несколько крепких загорелых парней. Один из них оборачивается, чтобы разглядеть мою девушку получше. Я поднимаю голову, спокойно ловлю его взгляд, а потом мне кажется, что он что-то говорит про нас остальных. Воображаю, что между нами происходит драка. Допустим, они оскорбляют её. И ведь я должен буду защищать её честь, которая с самого начала потеряна в нашем прелюбодеянии. И буду биться под этим солнцем неизвестно за что неизвестно с кем. И если меня убьют эти ребята — хорошенькое известие получит моя жена: “Вашего мужа убили, когда он защищал свою любовницу”. Такая вот глупая смерть вдали от дома. Наверное, кто-то уже так умирал.

Во второй половине дня мы идём назад. По дороге я покупаю раков, но пива не беру, хоть и хочу. Пиво кажется чем-то неуважительным по отношению к ней, слишком уж обиденным, вроде телевизора в нашем доме.

Надо бы спросить, как её зовут, но мы чересчур затянули с этим вопросом. Теперь уже не хочется ничего менять. Я — “он”, а она — “она”. Так и останемся.

Вечером лучше, чем днём. Мы сидим на каменных ступеньках нашего дома рядом с виноградной лозой и ожидаем ночи. Я пью вино бокал за бокалом, чтобы ночь показалась мне ещё более прекрасной. Пьянею и чувствую, что должен о чём-то с ней поговорить.

— Что ты о нас вообще думаешь? — спрашиваю я и с полминуты жду ответа.

— Ничего. Мне просто хорошо. Как никогда и ни с кем.

— Правда?

— Правда.

— Ты, может, думаешь, это навсегда?

— Нет.

Падают на землю груши, так же одиноко, как роняются в тишину наши слова.

6

Так проходит три, четыре или пять дней. Море, вино, дом, любовь, вино, море. Наше постоянное молчание для нас теперь так же привычно, как наша безымянность.

Однажды она предлагает отправиться в рыбацкий посёлок под названием Богудония. Я нахожу в доме старую удочку и беру с собой, накопав в саду несколько червяков.

В Богудонию ведёт с высокого склона узкая извилистая тропинка, выложенная камнями. Многие дома буквально вделаны в этот склон. Часть дома, которая ближе к морю, висит в воздухе на сваях, а другая вырастает в камен-

ную породу. На крыши некоторых домов можно прыгнуть прямо с тропинки. Вдруг улочка обрывается, дома и деревья остаются позади, и перед нами распахивается море. Мы стоим на раскалённой ржавой лестнице, спускающейся в песок, и глядим на море.

Берег здесь не такой, как везде. Он усеян древними камнями, обломками бетонных плит, разным сверкающим мусором. Попадаются белые с синим орнаментом осколки фарфоровой посуды. Я поднимаю их и складываю в карман. На одном даже стоит печать царских времён — двуглавый орёл. Лет сто назад этим осколком можно было порезаться, но море облизало его приливами и отливами и сделало гладким. Потом я вижу, что таких диковин тут можно набрать ведро за полчаса, и поэтому оставляю всё, что собрал, на песке.

Эти фрагменты фарфора, куски арматуры, торчащие из бетонных плит, сильно напоминают о человеке, и в то же время Богудония кажется самым диким местом в Таганроге. Невозможно представить, что жители прибрежных домов, похожих на древние скворечники, вдолбленные в скалы, утром отправляются на работу на центральные улицы города, да и вообще, что эти дома можно купить или продать за деньги. Они как будто являются имуществом моря. Ещё в Богудонии я понимаю, что Азовское море тоже может быть сильным и властным, несмотря на свои небольшие размеры. Кое-где оно обрушилось на ветхие хибары и нанесло им страшный ущерб, хоть они и вознесены сваями на высоту.

Мне приятно смотреть, как немолодая костлявая женщина развешивает бельё, выйдя из своей лачуги на сомнительное подобие балкона. Под глазами у женщины мешки. А бельё блестит на солнце и говорит о домашнем уюте. Может быть, она и всё её семейство сильно выпивают, общаются матом, да и дом их наполовину разрушен, но в их жизни есть забота о чистоте. Это дарит покой и надежду. Не так уж всё и плохо, раз есть желание заняться простыми делами по дому в жаркий день. Глядя на бельё, на то, как ветер треплет его в прибрежной тишине, я завидую всем, кто здесь живёт. Затем гляжу на свою девушку, которая идёт впереди меня. Это всё показала мне она. У неё красивые широкие бёдра и узенькие пятки. Она прекрасно загорела. Её походку я назвал бы “южной”. Всё в ней словно создано для того, чтобы ловко ходить по острым камням и жаркому песку. На секунду мне становится очень жаль, что всё это кончится. Жаль, что кто-то ещё будет обладать этими бёдрами.

Потом мы видим костёр. Он разведён среди бетонных плит, которые встали на дыбы и образовали архитектурное сооружение наподобие древних ритуальных построек. В тени одной из плит на песке лежит человек в шерстяном свитере на голое тело и в синих брюках, похожих на брюки советского школьника. Он спит на боку, спина оголена, и ясно, что в свитере и штанах полным-полно песка. У костра сидит мой ровесник, белокурый парень в семейных трусах и расстёгнутой байковой рубашке. Дрова, которые он подкладывает в костёр, — тоже дары моря. Это доски, отшлифованные волнами: бывшие части домов или лодок. Рядом с ровесником полупустая бутылка портвейна, в тени стоит ещё одна, полная. Ясно, что пьют не торопясь; портвейн надо растягивать, нового ещё долго не предвидится. Между плит, как в античной арке, появляется женщина. Волосы её — не длиннее сантиметра. Наверное, недавно она была совсем лысой. Сверху на ней остатки короткого халата, из которых выбиваются голые груди. А на бёдрах длинная толстая юбка, надетая разрезом вперед, так что в разрезе откровенно являются взору каждого тёмные густые волосы. Женщина присаживается на корточки у костра и что-то тихо говорит моему ровеснику, показывая на спящего в школьных штанах. Ровесник кладёт спящему на голову газету, испачканную остатками какой-то еды, и они с женщиной хрипло смеются.

Дальше начинается мол, уходящий довольно далеко в море. Мы доходим до конца мола, там я сажусь и начинаю рыбачить. Попадаются одни бычки, самый крупный — с ладонь. Бычки игриво теребят червя и дрожат, когда их тянешь из воды, не умея оказать большего сопротивления. Выражения их глаз разные, как у людей, хоть ничего и не значат; один бычок кажется воз-

мущённым, другой — удивлённым, третий — смиренным или задумчивым. Я ожидаю какой-то крупной рыбы и поэтому рыбака довольно долго. Девушка не торопит меня. Иногда подходит сзади и обнимает за плечи. Тогда я кладу голову на её руку. Делаю это сурово и мужественно, как подобает серьёзному охотнику, а вокруг меня — всего лишь мелкие мёртвые бычки, дары Азовского моря.

Я собираю удочку и хочу уже уходить, оставив трупки рыб на съедение чайкам, но она говорит:

— Давай возьмём бычков, я их приготовлю дома. Не зря же они умирали.

Я не смотрю ей в глаза. Это не оттого, что я и впрямь небрежно отнёсся к улову и мне теперь стыдно. Просто я услышал тёплую, родную мысль. От неё повеяло чем-то человеческим, очень правильным и добрым, что никак не совместимо с нашим грехом. Я чувствую, что привязываюсь к девушке не только телом, и мне горько от этого. Я собираю мёртвые тельца с теми же разнообразными выражениями глаз навывкате, складываю их в пакетик. Мне жалко этих рыбок. Я чувствую себя одной из них.

— Как улов? — спрашивает меня мой ровесник, когда мы снова проходим мимо их древней постройки из плит. Женщина сидит к нам спиной. Спящий всё спит. Женщина толкает его и протягивает остаток дымящейся сигареты.

— Да так, бычки, — поднимаю я пакетик, — мелочь.

— А что “мелочь”? — упрекает ровесник дружелюбно. — Вы так не говорите. Азовский бычок — самая прекрасная рыба.

Он картавит. Я думаю, что, может быть, они голодны и именно поэтому парень спрашивает о рыбе. Я говорю:

— Хотите? Вот, — и предлагаю им свой улов.

— Не-ет, — смеётся парень и даже позволяет себе по такому случаю налить немного портвейна, всё из той же початой бутылки. — Сами приготовите. Потом скажете: “Хаа, ещё хотели кому-то отдать азовского бычка! Во дураки-то были!”

Женщина смеётся тому, что парень, хоть и не прямо, назвал нас дураками, но смеётся она без злобы. Поворачивается к нам и ласково, с восхищением даже, смотрит на мою спутницу. У женщины нет переднего зуба.

Я думал, что эти люди обязательно попросят у нас денег на вышивку или хотя бы сигарет. Но, к моему удивлению, ничего такого не происходит, хотя и вышивки, и сигарет у них явно немного. И всё же для них важнее остаться в нашей памяти такими вот беззаботными, не испытывающими никакой нужды обитателями побережья, чем заиметь ещё пару бутылок портвейна.

Когда мы снова поднимаемся на вершину склона, а затем выходим на людную улицу, мне кажется, что маленькая дверь в Богудонию — единственная, через которую можно туда попасть, — навсегда закрылась за нами и исчезла с лица Земли. Я даже оборачиваюсь.

Дома она чистит бычков и жарит их. Я ем, очень вкусно. Бычки умерли не зря.

Первая ночь, в которую мы не занимаемся любовью. Сейчас в этом почему-то нет необходимости. Мы просто лежим рядом и медленно засыпаем, даже не прикасаемся друг к другу. Тогда я вспоминаю жену, а потом гляжу во тьме на человека, который лежит рядом со мной. Волосы на подушке, нос, ресницы, грудь под одеялом. Мне не по себе. Я встаю и выхожу в наш садик. Весь этот дом и вся эта красота — пристанище двух преступников. Я прислоняюсь к дереву и плачу. Плачу оттого, что я оказался на это способен.

Мы идём под деревьями и едим мороженое. Под нами, справа, море. Прошло уже больше десяти дней, как мы поселились в нашем доме с садиком. Я заплатил хозяину ещё за одну неделю, но у меня уже куплен обратный билет. Она догадывается об этом, хоть мы и молчим целыми днями. День не солнечный, может быть, сегодня-завтра будет дождь.

Мы садимся на скамейку спиной к морю. Мне хочется, наконец, заговорить. Я это делаю:

— Знаешь, я понимаю, что это может всё разрушить. Что ты сразу разочаруешься во мне. Но я не думаю, что это страшно. Может быть, даже лучше, если ты разочаруешься. Нам ведь надо расставаться. Видишь, мы всё время молчали. Наверное, это было для того, чтобы оставалась какая-то тайна. Или чтобы ни о чём не думать. Ведь если бы мы говорили, то о чём? О том, как мы поступим дальше, о том, как мне быть с женой, да и у тебя, наверное, кто-то есть; о том, как всё это грешно, чем это должно кончиться и так далее. Зачем нам были эти разговоры? Может, ты теперь считаешь, что я слабак, раз мне не хватило сил молчать до конца. Тем лучше. Скажешь себе просто: “Ну что ж, я в очередной раз ошиблась, была со слабаком”. Понимаешь, мне с тобой лучше, чем с ней, с женой, но я не смогу с тобой быть всю жизнь. Будет то же самое. Я не буду менять то же на то же. Там у меня уже есть ребёнок. Видишь, какой я обычный. Мне кажется, ты уже слышала что-то такое от мужчин. И ты думала, что я другой, а я оказался, как все. Ты, наверное, хотела, чтоб я молчал до самого конца? Или чтобы остался с тобой навсегда?

Я удивляюсь, насколько неповоротлива и некрасива моя речь. Как будто я напрочь разучился мыслить за эти десять дней. Мне неудобно от всего, что я сказал.

У неё в руке тает мороженое, она не ела его, пока меня слушала. Только слизывает с губ остатки сладости. Лицо у неё печальное, задумчивое. Из-за этого она снова кажется мне чистой, даже целомудренной девушкой, которую я обманул.

Вместо ответа она медленно кладет голову мне на плечо. И мы сидим так с мороженым в руках. Над нами уже давно ступились серые тучи, ветер по-осеннему треплет ещё зелёные листья. Я чувствую плечом её голову, и тяжёлую, и лёгкую, и на меня обрушиваются тысячи догадок и смыслов.

Может, ей просто нужен кто-то, неважно кто, и она готова была влюбиться в кого угодно. То есть, если б тогда к ней подошёл не я, а мужик с эскалопом, она бы так же легко досталась ему. К чему ей теперь разговоры? Просто ей нужен кто-то, нужен я, она хотела и получила. Болтовня только всё испортит, потому что никакими разумными доводами не оправдать нашей связи. А может, она и впрямь увидела во мне что-то, о чём мечтала? Только что это? Ни замечательной внешностью, ни оригинальными суждениями, ни богатством я не отличаюсь, это точно. Может, она просто увидела, что я не знаю, куда мне деться. Ей понравилось, что я недоволен своей жизнью и пью коньяк, а не жру эскалоп, только и всего. Что бы там ни было, теперь мы связаны и сидим под этим ветром вдвоём, чем-то похожие на двух пожилых людей. На ней даже длинная кремовая юбка, скрывающая стройность её молодого тела. И ни о чём не можем говорить.

— Завтра я уеду, — говорю я. — Сегодня последний день.

— Подожди меня тут, — говорит она и куда-то уходит. Оказывается, в магазин.

Она возвращается оттуда с пакетом, в пакете гремят бутылки. Я заглядываю внутрь — там мартини, коньяк, сыр и виноград. Она купила всё на собственные деньги. Раскрыла сумочку и заплатила. Хочет поблагодарить меня, устроить прощальный праздник.

Куда нам теперь идти? Надо бы придумать что-то особенное, а мы, кажется, уже почти везде были. Разве что не ходили в домик Чехова. То, что между нами было, не вязалось ни с какой культурной программой. Хотя дама с собачкой и её возлюбленный, если верно помню, тоже изменяли своим супругам.

В конце концов, мы снова, как в первый раз, идём по береговой полосе. У больших камней мы останавливаемся, чтобы выпить. Начинается дождь, волны становятся выше, люди исчезли с берега, а мы идём, чем дальше, тем пьянее. И дождь всё сильнее. Когда-то давно, подростком, я был на море и видел таких людей: в приличной, но испачканной в песке одежде, они шли по берегу. Мужчина шатался, как и я сейчас начинаю шататься, рубашка

была расстѣгнута, а в руке болталась бутылка дорогого, видимо, ресторанный коньяка. Впереди шла пьяная женщина с распущенными волосами и плакала. Я тогда посчитал, что они либо поссорились, либо ищут место, где можно совокупиться. Мы, наверное, выглядим так же. Она пьяная, я пьяный. Она красивая, я не такой красивый, но она меня любит.

Я уже почти допил коньяк, ноль-семь литра, мы ушли очень далеко, где ни разу ещё не бывали. Я пробую стянуть с себя одежду, но это трудно, да и не имеет смысла, я и так уже промок. Я захожу в воду в одежде, с бутылкой, она тоже. Волны бьют прямо в нас, и дождь бьёт по нашим головам. Я уже плохо соображаю, я понимаю только, что рядом со мной такой же, как я, несчастный человек, которого надо обнять и пожалеть. И я делаю это.

— Я люблю тебя, — снова говорю я, не понимая, правда это или нет.

— Я люблю тебя, — говорит она, и мы пьём. У меня сильная изжога от коньяка. Я выхожу из воды, сажусь на песок и достаю из пакета сыр с виноградом. Она садится рядом, мы едим. Мне так нравится еда, что я ложусь на спину и ем лёжа. Я успеваю только повернуть голову набок, чтоб не подавиться, и засыпаю.

8

Я просыпаюсь от холода. Уже ночь. Дождь прошёл. Она лежит рядом, она похожа на утопленницу, выброшенную морем. Волна достаёт до её пяток.

— Вставай, пойдём домой, — говорю я и подаю ей руку.

Мы идём по берегу назад — она впереди, я чуть позади, — грязные, опустошённые, нас шатает из стороны в сторону. Постепенно вдаль начинает просвечивать город. Зачем она надела сегодня эту старческую юбку?

Мы не смогли придумать ничего возвышенного, ничего сумасшедшего даже в последний день. Мы сделали, что могли. Напились и снова сказали, что любим друг друга. Как мало могут сделать два человека. Им было предоставлено море, время, дом с садом, целый город. А ничего особенного не вышло.

Нам с женой тоже была предоставлена целая жизнь, с сотнями морей, городов, с сотнями вещей, которым можно было бы научиться. Так казалось. Но вышло, что и в жизни всего очень мало. Меньше, чем казалось.

Мы открываем калитку и заходим в сад. С деревьев падают капли. Как-то птица поёт голосом, похожим на окарину. Я срываю с ветки грушу, откусываю один раз и бросаю плод под дерево. Я устал.

Утром я собираю вещи и выношу их из дома. Говорю ей:

— Давай не будем проводить время до поезда вместе. Как-то обидно. Лучше я уйду прямо сейчас, а ты останешься в доме, хотя бы до вечера. Хорошо?

Она сидит в прохладе на деревянных ступеньках крыльца:

— Хорошо.

Я хлопаю по карманам, проверяю документы, деньги.

— Скажи, тебе хоть будет, на что вернуться? У меня есть немного денег.

— У меня есть, — говорит она.

Я не знаю, как проститься. Поэтому спрашиваю:

— Как проститься-то лучше?

Она смотрит мне в глаза, потом подходит, становится на колени, обхватывает меня руками и прислоняется ухом к моему животу. Я гляжу на неё сверху: кажется, она хочет запомнить меня навечно, удержать в сердце и в памяти. Над её головой давно уже нет того свечения, какое было в первый день. Волосы какие-то простые, жидковатые даже, я вижу пористую кожу головы.

Она быстро встаёт и отворачивается от меня:

— Всё, иди...

Я тут же разворачиваюсь и выхожу из сада через калитку. Мне хочется как можно скорее оказаться в несущемся поезде, а лучше — уже в Москве, а ещё лучше — у подъезда своего дома.

Время до отъезда я провожу у яхт-клуба. Какой-то загорелый дед в белоснежной морской фуражке одного за другим таскает из моря бычков.

Я смотрю на него и думаю лишь о времени: дед важен для меня ровно настолько, насколько наблюдение за ним помогает убить время. Я вспоминаю и того, другого деда, из поезда. Тоже для времени. Нашёл ли он себе место в Таганроге? И что это за место?

Часто возникает мысль о ней. Словно я вижу её лицо в эту минуту. Она сейчас одна, в нашем доме, в саду, не находит себе места, думает, что ей дальше делать в этом городе, в этом мире, и никак не может придумать. Груши, виноградник, гамак — всё напоминает обо мне, о вчерашнем дожде и о словах: “Я люблю тебя”. Не сказать, что со мной она была, как в раю. Но без меня теперь одиноко. Найдётся ещё кто-нибудь, ей этого не избежать. Со мной у неё не было ничего такого, чего не мог бы дать другой.

Господи, куда девать оставшиеся четыре часа? И почему я сейчас не смогу заснуть прямо на этой маленькой пристани? Чёртов город Таганрог, в котором человеку нечего делать.

9

Я захожу в свою квартиру. Слышу неизменную, преданную трель моего Чивика. Потом в дверном проёме комнаты появляется удивлённый Миша. Он смотрит на меня, но не хочет мне ничего говорить раньше, чем меня увидит мама. А сам я страшно боюсь её увидеть, потому что не знаю, что со мной тогда произойдёт. На обратной дороге, в поезде, муки ада сгустились, я лежал, отвернувшись к стенке, и шёпотом говорил слово “нет”, чтобы оно убивало и совесть, и время, и вообще все мои мысли.

Жена выглядывает из комнаты, в руках у неё ножницы. Она вырезает солнышко для Мишиной аппликации. И лучи из жёлтой бумаги качаются в её руке. Я отворачиваюсь к стене, прислоняюсь к ней и начинаю вздрагивать. Мне хочется выкрикнуть: “Чтоб я сдох, тоскливая, бестолковая скотина!” Но я уже думаю о том, как объясню эти слёзы жене. Наверное, так: мне просто стало стыдно, что я отдохнул, а они — нет.